



СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ

Писатель, поэт

Родился в 1961 году в г. Омске. После окончания Алтайского политехнического института в 1985 году работал инженером-технологом, сотрудником заводской многотиражки, нач. лаборатории, директором коммерческого предприятия, помощником ректора в АПГУ, редактором городской газеты. Учился в Литературном институте им. Горького. Сейчас работает журналистом в газете «Бийский рабочий», входит в общественный редакционный совет журнала писателей России «Огни Кузбасса», является заместителем главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Стихи и проза публиковались в краевых, российских и зарубежных изданиях. Автор 8 поэтических книг и 3 книг прозы. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России.

АЛЬБУМИН, ЗВЁЗДЫ И КОБЫЛЬЕ МОЛОКО

Ночь. В степи хорошо, спокойно, не то, что дома. Воздух на травах настоян, тихо, слышно, как далеко в речке рыбина большая плеснулась, и снова тихо. Ванька лежит ничком на сене, глаза вверх широко открыл. Там звёзды по всей ширине неба рассыпаны, будто слюдинки у реки на песчаной прогалызине, на той, куда они с пацанами купаться бегают.

Только, искупаться нынче редко удаётся, некогда — пары пахать надо. А это обычно — с раннего утра и пока темнеть не начнёт, и так — с начала лета и до самого сентября. А не дашь дневную норму — бригадир отругает при всех: «Вот Ванька с Колькой, стервецы, опять фашистам помощь чинят, норму не дают!.. Ишь... кобылье отродье!..». Да ещё и пару крепких словец пристегнёт вдобавок, обидно, слёзы на глаза наворачиваются...

Вообще-то дядя Кумарбек добрый, натянет свою шапчонку поглубже, так, что старенький мех на глаза нависает, ругается, а сам улыбается под шапкой. Однако и с него начальство строго спрашивает, вот и ругает пацанов, чтобы взбодрить их. Чего ругается старый, руганью ведь дела не поправишь?! Лучше б кормили их посытнее... Только в этом вопросе Кумарбек не поможет, и рад бы, да где ж её нынче взять, еду-то?

Только всё равно не прав он, дядя Кумарбек, никакой не помощник Ванька тем фашистам. Да он и в глаза-то их, фашистов, никогда не видывал.

Вот отец его, Михаил Лапшин, — тот видал, даже «памятку навечную-увечную» от них в ногу имеет. Помнит Ванька, в 41-м 22 июня прискакал

в ихнюю Светкоммуну посыльный с главной колхозной усадьбы. К столовке прискакал. Собрал воедино всех, кто в ту пору на работе был: «Война!» — говорит. И список зачитал, длинный такой список, почитай все мужики светкоммунские, кроме старых да малых в нём: «Так вот, собирайтесь, значит, товарищи, Родину защищать от немецко-фашистских захватчиков». На следующий день батя на фронт и ушёл, со всеми мужиками соседскими, с Ванькиным старшим братом Семёном...

А в августе ранило батю. Пулей вражеской ему половину нижней челюсти разворотило, да в ноге осколок от немецкого фугаса застрял. Три месяца в бийском госпитале батя пролежал, совсем рядом от родных мест. Лечили его, лечили... мать пару раз к нему ездила, туда, в госпиталь, каждый раз дня на два, больше её из колхоза не отпускали — работать-то некому. Как возвращалась из Бийска — ревела жутко. Ванька мать жалел, но виду не подавал, верилось ему — батя у него крепкий, выкарабкается батя, поправится, и война закончится. Семён воротится, а там уж заживут...

Из Бийска комиссовали батю подчистую — не годен, да и то верно, кому на фронте такой солдат нужен, если он даже жевать толком не может. Мать ему натолчёт в миске картохи ли хлеба, когда был, да на стол ставит. Чуть ли не с ложки кормит батю.

Впрочем, как вернулся батя в Светкоммуну, тоже без дела сидеть не смог, бабам в колхозе помогал: дрова в столовку навозит, воду. Иногда и за топор, за пилу брался... Но раны покоя не давали, буквально на Ванькиных да мамкиных глазах таял. Особенно по ночам у него болело, когда спать ложился. Днём-то занят был, некогда о болячках думать, а ночью хоть волком вой. Да чего греха таить, волком и выл.

Ванька оттого домой и не идёт. Всё равно там не выспишься, батя всю ночь проворочается, простонет, а мать рядом с ним тоже не спит — то воды подаст, то встать с кровати подмогнёт, если батя на двор соберётся...

Понимает умом Ванька — долго батя не протянет. Но всё равно оттого ему ещё тоскливее на душе дома становится. А уж матушка когда причитать зачнёт, то и вовсе сиротой бывает, хоть беги куда глаза глядят...

Лежит Ванька, на звёзды глазеет. Хорошо ему в стогу, лежи да смотри, пока не уснешь. И про голод как-то забывается временами, иногда только и вспомнишь, когда в животе сильно уркнет, а так ничего, терпимо. На звёзды смотришь да слушаешь, как мыши внизу шуршат, тоже, наверное, пожрать чего ищут?.. Всем нынче голодно — и людям, и мышам. Война...

Когда в сене лежишь, а над тобой звёзды — чего только в голову не полезет. То одно, то другое, но всё равно всё к мысли о еде возвращается.

Вот раньше, до войны, жили они сытно вроде, Ванька-то помнит — не голодали. А только батя всё одно ворчал: «Ну вот, свалили всё в один котёл, теперича и ложкой из него не зачерпнёшь! Вот то ли дело раньше...».

Что там раньше, сам Ванька того не помнит. Но от отца с матерью кое-что слышал. А раньше, до революции ещё, на месте поселка Светкоммуна монастырские земли были.

Монастырь тот затеял богатый барнаульский купец Малкин, который ещё в 1862 году начал эту идею продвигать. В ту пору здесь вокруг алтайцы жили, а торговля с ними большую прибыль купцам приносила. Вот и нужно было Малкину здесь постоянное место обжить. А чтобы разрешение ему от властей получить, стал купец власти письма писать, в коих убеждал власть, что «в этом мужеском монастыре», де, крайне заинтересована Алтайская духовная миссия. Ссылался при том на записку состоящего при миссии некоего иеромонаха Иоанна. Якобы говорилось в записке, что «члены миссии живут порознь, по целому году не общаясь между собой». Потому-то миссии крайне необходимо иметь центральное место в виде приюта. Там, по мнению монаха, могли бы найти «помощь и пособие на первых порах» прибывшие на Алтай.

В итоге ходатайство купца об уступке под монастырь «пустолежащих» будто бы земель было удовлетворено, а организация монастыря была признана во всех отношениях «желательной». А в 1864 году императором Александром II был высочайше утверждён здесь «общежительный мужеский монастырь».

Со временем влияние монастыря распространилось на всю близлежащую долину, а проживавшие вокруг алтайцы были поставлены перед выбором: убираться им из долины или платить монастырю установленную аренду. Поскольку перспективы переселения для них были ещё менее привлекательными, чем житие «под монастырём», многие алтайцы предпочли остаться на обжитом месте. За право поставить юрту в этих долинах каждая семья должна была платить монастырю по рублю в год; те же, кто сеял ячмень, платили по рублю за пуд высеянных семян... Платили и за пастбища — за одну голову крупного скота по 25 копеек и ещё по 5 копеек — с головы каждой мелкой скотины... За сено, за право пользования лесом... А коли алтаец ещё хлеб сеял, то должен был он отдавать монастырю одну десятую часть урожая под видом руги, — так называли по тем временам отсыпной хлеб, отдававшийся в виде жалованья представителям духовенства.

Постепенно монастырь разрастался и вширь, и втолщь, обживался всё большим числом насельников. Люди приходили сюда не только с близлежащих Увалы, Бийска, Барнаула, но и из центральных областей России. Со временем у монастырских появились свои мельница, дегтярная печь,

печка для обжига кирпичей, большое молочное стадо и маслобойня, монахи стали разводить птиц и садить фруктовые деревья и огороды...

Ванька с ребятами раньше частенько бывал на монастырских развалинах. Огромный, одичавший со временем фруктовый сад, опустевшие, заросшие травой и кустарником остова братского корпуса и храма, а за храмом, чуть поодаль, ближе к холмам, — монастырское кладбище. Могилки монахов заросли, и холмики их почти сравнялись с землей.

Особенно любили собираться на кладбище. Трава здесь была густая, а на едва заметных холмиках росла самая крупная и сладкая клубника. Места вокруг были вообще клубничные, а здесь на кладбище особенно.

Увидел одну ягодку, нагнулся, а рядом ещё пять, присел — ещё десять поманили. Так увлечёшься, что ничего вокруг не замечаешь. Складывает Ванька в рот ягоды, да жадно, почти не пережевывая, глотает, точно не успеет все их съесть — опередит кто-то из товарищей. Глотал, глотал, да за что-то ногой босой зацепился, ну и содрал кусок дёрна, а под ним краешек плиты чугунной. И буквы на ней. Любопытно Ваньке, расчистил он дальше надпись, а там «братъ Иоанн» — надпись, и даты с... по...

Какой-то момент перепугался Ванька, а ну как там под плитой пусто, провалится плита и он вместе с ней туда. Но страх быстро прошёл, показал плиту друзьям. Они её полностью откопали, тяжёлая плита, втроём через силу с места подняли. Никакой пустоты там, конечно, не было, однако решились плиту на место положить. Мало ли...

Тогда, до революции, здесь же на монастырской земле на месте маленьких староверческих заимок стали возникать небольшие поселения. Одним из них и образовалось село Зыково. По тому времени в селе было до восемнадцати дворов, и народ обитал самый разный. Прежде, конечно, это сами Зыковы — семья переселенцев-старообрядцев, которые облюбовали эту долину ещё задолго до появления монастыря.

Было и несколько семей, переселившихся с Украины. Как рассказывала Ваньке его ровесница-соседка Маша Пугачёва, мать её приехала сюда с родителями одиннадцатилетней девчонкой, ещё в 1910 году. А перед тем как ехать Зыковым на Алтай, цыганка наворожила матери, мол, им на новом месте «на скот счастье будет». Вот и пригнали они с собой сюда скотину, привезли пшеницу, картошку, семена. Отстроились на новом месте неподалёку от монастыря, рядом с зыковской пасекой.

Постепенно в Зыково стали строиться и алтайцы, которые жили вокруг отдельными урочищами, кочуя с одного пастбища на другое. Богатые селились обособленно, чуть за деревней, держали обыкновенно большое хозяйство, огромные стада, выпасали их на выгонах далеко за деревней.

А бедные нанимались в батраки к русским и к своим зайсанам. Однако совсем бедных было немного, большинство хозяев в Зыково держали крупнорогатый скот, коней, овец, сажали картошку — словом, на еду хватало. Пшеницу сеяли мало, в основном для хлеба. Питались преимущественно мясом и молоком.

Отец Ванькин был мужик мастеровитый, только к 17-му году, так случилось, хозяйство его как-то в одночасье ополовинилось, две дойных коровы пали, овец пришлось продать, да и на посев почти ничего не осталось. Можно было и у соседей на посевную пшеницы перехватить, однако в ту пору зайсаны и мужики побогаче, услышав, что в соседнее село приехали красные, целыми семьями собрались переселяться в Монголию, подальше с глаз новой власти, и угоняли с собой весь свой многочисленный скот. Михаил с семьёй вынужден был на месте остаться, не последнее же бросать. А ехать куда-то за журавлём в небе он не решился.

Удалось ли переселенцам из Зыкова на новом месте заново поднять хозяйство, никому из оставшихся неизвестно — уехали они, как в воду канули. Да и не мудрено, времена были такие, что люди запросто пропадали, как говорится, «без суда и следствия».

Чуть позже на центральной усадьбе был образован сельский Совет. А ещё через год всё монастырское хозяйство и постройки Советом этим были решительно конфискованы и переданы вновь созданной на месте монастыря коммуне. Правление находилось на центральной усадьбе, а отделения — в небольших селах, вроде Зыково. А чтобы окончательно забыть тёмное прошлое, недолго думая, все деревни переименовали. Так Зыково стало Светкоммуной.

Монахи тоже разбрелись кто куда, большинство бесследно исчезли. Из всех монастырских в Светкоммуне прижился один блаженный Илларион, которому, похоже, и идти-то было особо некуда. Он и в монастыре-то жил на правах приживалки, в своё время настоятель приютил его из сострадания, а единственным послушанием ему было помогать в меру своих сил в монастырском саду.

Прибившись к коммунарам, отец Илларион возился с ихними самыми малыми ребятишками — что-то вроде детского сада на общественных началах, — рассказывал им всякие волшебные истории, большей частью из священного писания. А ютился по-прежнему в сторожке в старом монастырском саду, который после ухода монахов скоро захирел, яблоньки в нём одичали и уже не давали такого богатого урожая.

Коммунары, также из простого человеческого сострадания, оставили блаженного при кухне. Иногда помогал он светкоммунским бабам — то дров наколоть, то воды поднести, а бабы соответственно поставили

его на пищевое довольствие в общественной коммунарской столовой, где сами питались да кормили своих мужиков...

Конечно, всего этого Ваня Лапшин не помнил, да и не мог, поскольку родился лет через семь после того, как монастырские владения коммуне отошли, но от родителей и соседей-коммунаров обо всём этом, конечно, слышал. Нередко, особенно зимой, отец рассказывал ему будто некую сказку о том, как жили в то далёкое «раньше», как пришла на монастырские земли неожиданно-негаданно Советская власть, и все стали работать сообща и дружно, строить какой-то счастливый коммунизм. Каким он будет, этот коммунизм, отец Ване объяснить не мог, но вместе со всеми предпочитал верить, что будет он светлым и счастливым для всех. Да и как не верить было по тем временам — себе дороже...

Впрочем, кое-что из того «раньше» и Ванька застал. Помнит он и коммунарскую столовую, когда женщины-коммунарки готовили сразу на всех, и обедали все вместе — и взрослые, и ребятня. Садилась за столы весело, с шутками, с прибаутками. У ребятни в столовой был свой отдельный стол, где они полностью хозяйничали, сами носили с кухни, сами разливали похлёбку по мискам — всё сами, и от этого тоже было радостно на душе. Помнит он и посиделки в нардоме, бывшем доме Зыковых, уехавших в Монголию. Когда ребята постарше танцевали под гармошку с девчонками, а они, мальцы, подглядывали в окна и исподволь похихикивали, почему-то тогда им очень смешными казались эти нардомоские танцы.

Запомнил Ванька и блаженного. Иллариона ребятня любила — чувствовали, добрый он, хотя имя у него, конечно, странное, и головой он, как гусь, постоянно кивает, но начнёт рассказывать, заслушаешься, не то что родители.

Особо запомнился рассказ о рождении младенца Иисуса. Ванька живо представлял себе — вот Иосиф с беременной Марией отправляются в далёкий Вифлеем... Правда, не совсем понятно Ваньке, зачем им обязательно нужно ехать в тот Вифлеем, неужели ради того, чтобы их сосчитали? Ведь, как Илларион говорит, от Назарета до Вифлеема ни мало ни много, более двухсот верст будет. Да и остановиться им в том Вифлееме особо не у кого — ни родственников, ни знакомых. А народу в Вифлееме, опять же по словам Иллариона, собралось на ту перепись видимо-невидимо... и вынуждены были Мария с Иосифом найти приют в хлеву для скота.

И Ванька снова представляет Марию с Иосифом в том хлеву среди запахов сена и навоза, таком же тесном, как загон для дойного стада у них в коммуне. А Илларион дальше рассказывает и рассказывает: «Марии же наступило время родить, и родила она Сына своего, Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли...».

А рядом с яслями — Ванька снова вспоминает светкоммунский загон, — нет, не коровы, а овцы ходят, от них тепло, и шерсть у них, наверное, мягкая.

Непонятно Ваньке, зачем этот вифлеемский хлев находится в пещере, так утверждает Илларион и поддакивает себе, а сам по-гусиному головой всё кивает и кивает, так смешно... Но чувствует Ванька, всё равно от овец идёт живое тепло, и сено пахнет свежо, с примесью каких-то нездешних волшебных трав, видно, вифлеемских...

...Тут Ванька почему-то вспоминает: зашёл он как-то к своему другу Толе Тайдычакову, а тот сидит, нянчит своих младших братьев и сестру. Вся малышня в большом ящике с сеном ползает, голенькие, чумазые, но весёлые, хохочут. Видимо, сено щекотное. А Толя рядом сидит в мамкиной юбке, которая у него на плечах завязана. Хотел было Ванька Толю гулять позвать, но посмотрел на него и спрашивает:

— Чего так?.. В юбке...

А Толя отвечает:

— Видишь, штанов нет, порвались совсем. Вот мамка юбку на время и дала...

И смешно Ваньке, и друга жалко. Помнится, выпросил он тогда у матери свои старые холщовые штаны — мол, а то играть совсем не с кем — да отнёс их Толику:

— На, носи...

...А Илларион всё рассказывает и рассказывает. Вот ангел Господень является пастухам, которые сторожат стадо, «...и слава Господня осеяла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: “Не бойтесь, возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях”...».

Смотрит Ванька на звёзды, они то блесками слюдяными мерцают, то дорожками в разные стороны разбегаются, а то и ровными рядками идут друг за другом, что борозды на свежевспаханном поле, где-то среди них та, Вифлеемская. Только далёко она. И сеном степь пахнет, родным, светкоммуновским...

Одно плохо, в животе нет-нет да уркнет, раз, потом ещё. Всё-таки сколько на звёзды не смотри, а голод совсем не пропадает, есть всё равно охота. Поскорее бы уже уснуть, завтра опять пары пахать...

Как и все светкоммунские пацаны, Ваня Лапшин с малолетства к лошадям приучен был. В деревне почитай лет уже с шести-семи ребятишки с лошадьми управлялись не хуже взрослых мужиков. На водопой, бывало, водили, когда и в ночное на выпас выгоняли.

А чуть постарше, лет с десяти этак, помогали взрослым свозить силос. Грузили его на волокуши, типа саней. Потом везли к силосной яме, там бабы волокуши выгружали, и опять — вперёд на загрузку.

Зачастую и пары мужикам помогали пахать. На конной тяге, старыми плугами. Обыкновенно кто-то из мужиков или из тех, кто постарше, за плугом шёл, а ребятню седоками к себе брали. В каждый плуг пахари впрягали по две пары лошадей, на одной из лошадок передней пары обыкновенно подсаживали пацана, чтобы, значит, он лошадьми правил. А что, кони в колхозе к пахоте привычные, их особо даже не нужно было направлять, сами вдоль борозды шли. Самое главное для седока — не прозевать, когда борозда закончится, да развернуть упряжь вовремя и аккуратно, чтобы точно через определённый интервал в следующую борозду войти...

Только так-то до войны было. А как забрали мужиков, почитай всех в неделю-полторы, осталось тогда их шесть человек — седоков. Двоим по пятнадцать лет, а ещё четверо, в том числе и Ванька, те вообще тринадцатилетние. Среди них и девочка одна была — Маша Пугачёва. Бедовая девчонка, под стать фамилии, хоть и соплюха, казалось бы. Потом, когда вырастет — Ванька уже решил, — он обязательно позовёт её замуж, станут они вместе жить да хозяйство вести, как взрослые. Но это потом, после войны, когда фашистов одолеют... В общем так, седоки-то они седоками, но вопрос остро встал, а пахать-то кому? Так и стали седоки пахарями. Бригадир ихний, дядя Кумарбек, посмотрел на них, головой молча покачал да рукой махнул:

— А-ай... Пашите!

Только без седока пахарю как? За Машей Пугачёвой увязался братишка — десятилетний Васька. У Ваньки младших не было, только старший, и тот на фронте. Вот и позвал Ванька с собой Колю Пугачёва, Машиного младшего, ему только-только девятый годок пошёл. Другие новоявленные пахари на них поглядели да тоже малышню к себе взяли. А что? Лошади колею знают, да и пацаны на лошадях крепко сидят.

Конечно, почувствовал Ванька — за плугом это не на кобыле верхом, тут главное ручки плуга крепко и ровно держать, чтоб отвал за плугом шёл. Трудно, конечно, ему тринадцатилетнему с плугом управляться, но старается. Да и все стараются, по шестьдесят, а то и по семьдесят соток вспахивают...

А осенью ещё — уборка, вязка снопов, потом снопы скирдовать надо... Частенько и так бывает: только отпахаются они, приезжает дядя Кумарбек и говорит: «Ну, теперя снопы скирдовать быстренько». А куда деваться: не будешь скирдовать, снопы влажные станут, потом жаться плохо будут, а значит меньше хлеба на фронт нашим солдатам пойдёт...

Почти засыпает Ванька, всё перед глазами расплываться начинает. Но голод не отступает, урчит в животе, даёт о себе знать. Самим-то им хлеба почти не выдают, только что на трудодни, а там всего-то на один жевок. А работа трудная, изнурительная. Ванька видел, на его глазах одна женщина, когда силос разгружали, работала, работала как все и... упала за-мертво. А у неё, Ванька знает, трое детишек осталось. Куда их? Хотя, подумать, кому нынче легко — война.

Скоро ли она закончится, проклятая? Вот старший брат недавно из-под Воронежа письмо прислал, пишет: «Мы тут фашиста бьём. Вы уж там потерпите, родные. Скоро, скоро победим. Вернусь, всё легче будет. Ванька, матери и отцу помогай, ты уже большой, а сейчас и вовсе из мужиков старший в семье. Батя, а ты выздоравливай, мы ещё с тобой выпьем за нашу Победу!». Хорошо бы, коли так. Только сводки с фронта идут о больших потерях и с нашей стороны. Вон Пугачёвы похоронку получили, Тайдычаковы... да почитай полсела осиротелых. Только и слышишь, то там, то там — бабий рёв по селу бродит. Здесь, в степи, как-то тише, спокойнее.

И снова это урчание в животе, Ванька невольно вспоминает вчерашних сусликов, которые были у них на обед. Они приспособились — вырывали волосы из кобыльих хвостов, плели силки и ловили в степи сусликов. Обдирали шкурки, варили тушки в солдатском котелке. Вчера попало три зверька, ими и поужинали. Только что такое три крохотных тушки на двенадцать голодных ртов!..

Ещё иногда дядя Кумарбек привозит им альбумин, выдаёт граммов по 200–250 на человека. Альбумин — это такая жидкая масса, что-то среднее между молочным обратом и творогом. Ванька от кого-то слышал, что делают его из коровьего молока где-то в Белом Ануе. Где он, этот Белый Ануй, Ванька не знает, но альбумин съедает с удовольствием. Вкусно, но мало. Голода альбумином не перебьёшь.

Иное дело — кобылье молоко. Дядя Кумарбек выделил светкоммунским старухам четыре конематки, старухи доили их и делали кумыс. Кумыс этот потом куда-то отправляли, но и бабушкам тоже немного перепадало. Пацаны видели это и соображали по-своему, у них под плугом в одной из упряжей ходила дородная ожеребившаяся кобыла Параша. Вот только доить кобылу никто из них не умел.

Как-то раз прошли они несколько кругов и решили слегка передохнуть. Тут как тут — Парашин жеребёнок, он рядом пасся. Сразу под мамку и за сиську, молоко сосать. Толик Тайдычаков на это дело смотрел, смотрел и говорит:

— Бабки там лошадей доят, кумыс пьют. А мы тут никак не можем!

Подошёл, отогнал жеребёнка, а сам вместо него пристроился прямо к соску. Пацаны над ним смеются:

— Ну чё, Толик, нашёл себе титьку!

А он на них внимания не обращает, знай сосёт. Напился молока и говорит:

— Ну всё, ребята, сытый я теперь!

Пацаны смекнули, и туда же за ним. Оказалось очень даже можно: соски у кобылы, будто специально, упругие, в разные стороны торчат, сразу четверым пристроиться легко. Молоко тёплое, чуть сладковатое на вкус, и травами пахнет. А Параша стоит себе спокойно, точно так и надо. Маша увидела, сперва поворчала на ребят:

— У малого молоко отымаете!

— Брось ты... Всё не высосем... А жеребёнок, он всегда при кобыле, голодным не останется. Лучше молоко попробуй!..

Маша бочком, бочком, потом попробовала. Видать и ей понравилось, да и есть шибко охота. Словом, напильсь все, потом и жеребёнок подошёл, и ему что-то осталось, вымя-то у кобылы вон какое!

Конечно, дядя Кумарбек пожурил пацанов из-под своей меховой шапки. И как догадался только? Выговорил:

— Ребята, чё ж творите-то? Жеребёнку маленько оставьте!..

А Толик на своём стоит:

— Да чё ты, дядя Кумарбек, неужто мы всё высосем?.. Жеребёнок-то, он всегда при кобыле...

Вздохнул Кумарбек и рукой махнул:

— Ладно, пейте, кобылье отродье. Бог с вами...

С тех пор и пьют они кобылье молоко, в голодуху-то хорошее подспорье.

Облизнулся мечтательно Ванька, уже во сне. Перевернулся на бок, подсунул руку под голову и блаженно почувствовал, как звёздные борозды в небе слились где-то впереди в один струящийся плавно свет, тёплый и сладковатый, пахнущий травами, будто кобылье молоко.